

МЕСТО
ВСТРЕЧИ

Зигмунт
Милошевский
ДОЛЯ
ПРАВДЫ

Annotation

Действие романа разворачивается в древнем польском городе Сандомеже, жемчужине архитектуры, не тронутой даже войной, где под развалинами старой крепости обнаружены обескровленный труп и вблизи него – нож для кошерного убоя скота. Как легенды прошлого и непростая история послевоенных польско-еврейских отношений связаны с этим убийством? Есть ли в этих легендах доля правды? В этом предстоит разобраться герою книги прокурору Теодору Щацкому. За серию романов с этим героем Зигмунт Милошевский (р. 1976) удостоен премии «Большого калибра», учрежденной Сообществом любителей детективов и Польским институтом книги.

Зигмунт Милошевский

Доля правды

Марте

В каждой легенде есть доля правды.

Народная мудрость

Половина правды – то же, что полное вранье.

Еврейская пословица

Обязанность прокурора – стремиться к установлению истины.

Из правил прокурорской этики

Copyright © Wydawnictwo W.A.B., 2011

© О. Лободзинская, перевод, 2014

© «Текст», издание на русском языке, 2014

Электронная версия книги подготовлена компанией Webkniga.ru, 2016

Глава первая

среда, 15 апреля 2009 года

Евреи, вспоминая переход через Красное море, торжественно отмечают седьмой день Песаха, христиане – четвертый день Пасхальной октавы^[1]. Для поляков это второй день трехдневного национального траура по жертвам пожара в Камень-Поморском. В мире большого футбола команды «Челси» и «Манчестер Юнайтед» выходят в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА, в мире футбола польского суд выносит нескольким болельщикам лодзинского клуба «ЛКС» обвинение в разжигании межнациональной розни за ношение футболок с надписью «Смерть “Видзеву”^[2] – еврейской курве». Главное управление полиции публикует мартовский отчет об уровне преступности: по сравнению с мартом 2008 года она выросла на 11 процентов. Полиция комментирует: «Кризис толкает людей на преступление». В Сандомеже он уже толкнул продавщицу из мясного отдела, и та толкнула из-под прилавка сигареты без акциза, женщина задержана. В городе, как и во всей Польше, холодно, температура не выше 14 градусов, но это первый солнечный день после холодной Пасхи.

Нет, духи не приходят в полночь. В полночь еще показывают по телевизору фильмы, подростки иступленно мечтают о своих учительницах, любовники набирают силы для следующего раза, старики супруги озабоченно толкуют о том, куда идут деньги, примерные жены вытаскивают из духовки пироги, а достойные порицания мужья не дают детям спать, пытаясь по пьянке открыть дверь квартиры. В полночь жизнь по-прежнему бурлит, и духам умерших нелегко произвести подобающий эффект. Другое дело перед рассветом, когда вздремнет даже служитель автозаправки, а мутная зорька мало-помалу извлечет из полумрака существа и предметы, о существовании которых мы и не подозревали.

Время близилось к четверем, солнце встанет через час, а в читальне Государственного архива в Сандомеже Роман Мышинский в окружении почивших в бозе боролся с одолевающим сном. Горы приходских книг XIX века источали удушливый запах смерти, хотя в них преобладали записи, касающиеся скорее радостных событий – крестин и венчаний. Просто трудно было избавиться от мысли, что все эти новорожденные и новобрачные уже не один десяток лет гниют в могиле, а все эти редко раскрываемые книги, по которым, дай-то Бог, раз в год прохаживался пылесос, являют собой единственное свидетельство их существования. Этим и так посчастливилось, если принять в расчет, как с польскими архивами обошлась война.

В помещении царил холод, кофе в термосе закончился, а в голове у Мышинского рождались только проклятья: на кой черт занялся он поисками генеалогических деревьев, да еще фирму открыл, вместо того чтобы пойти на должность ассистента. В вузах доходы хоть и невелики, но стабильны, там и страховку оплачивают – одни плюсы. Особенно по сравнению со школой, куда угодили его однокурсники: при столь же низкой зарплате они успели вкусить чувство безысходности и натерпеться от угроз учеников, вполне подпадающих под статьи уголовного кодекса.

Он бросил взгляд на раскрытую страницу, где в апреле 1834 года ксендз из прихода в Двикожах каллиграфически вывел: «Явившиеся и ихние свидетели неграмотные». Вот, собственно, и все, что известно по части дворянского происхождения Влодимижа Неволина. Однако, останься у кого-нибудь сомнения, дескать, у родителя, прапрадеда Неволина, принесшего окрестить дитя, после *пуповин*^[3], скорее всего, выдался тяжелый денек, они бы тотчас же отпали ввиду его принадлежности к крестьянскому сословию. Мышинский был убежден: докопайся он до свидетельства о браке, то обнаружится, что упомянутая в метрике Марьянна Неволина – пятнадцатью годками помоложе своего супруга – не иначе как прислуга. И по тем временам, верно, проживала со своими родителями.

Он встал, резко потянулся, задев рукой висящий на стене довоенный снимок сандомежской Рыночной площади. Поправил его и подумал: а ведь сейчас площадь выглядит несколько иначе. Скрамней, что ли. Он выглянул в окно, площадь застилал туман. Что за вздор, с какой такой стати старая средневековая площадь должна выглядеть иначе и почему он вообще об этом думает? Берись-ка ты лучше за работу, если хочешь восстановить прошлое Неволина и успеть в Варшаву к часу дня.

Какие сюрпризы могут его ожидать? Со свидетельством о браке заморочек не предвиделось, так же как и с метриками Якуба и Марьянны, где-то они найдутся – для исследователей архивов Царство Польское^[4] было, слава Богу, довольно благосклонно.

Благодаря наполеоновской конституции, начиная с XIX века, в Варшавском герцогстве^[5] регистрация актов в приходах проводилась в двух экземплярах, один из которых передавался в центральный архив. Позднее правила изменились, но все равно было не так уж плохо. Зато в Галиции^[6] дела обстояли хуже, а Восточные Кресы^[7] – вот уж где настоящая генеалогическая черная дыра! Например, в Забужанском архиве в Варшаве актов раз-два и обчелся. То бишь с Марьянной, родившейся году в 1814-м, проблем не предвиделось. С Якубом – конец XVIII века – то же самое, ксендзы народ образованный, и метрические книги были полными, исключая разве уж самые ленивые приходы. А в Сандомеже на помощь приходил исторический факт: во время войны ни фашисты, ни Советы не обратили город в пепел. Самые старые книги относились к XVI веку – ведь только тогда, на Тридентском Соборе, Церкви пришлось в голову переписывать своих овечек.

Он потер глаза и склонился над раскрытой книгой. Выходит, нужно просмотреть записи о венчаниях в Двикожах за последние два года, а заодно сразу же поискать мать. Девичья фамилия Кветневская. Хм. В голове раззвонился звонок.

Прошло два года с тех пор как Мышинский, не внимая ничьим советам, открыл фирму «Золотой корень». Идея сия взбрела ему в голову, когда он, собирая материалы для кандидатской в Главном архиве метрических книг, увидел людей с безумным блеском в глазах, беспомощно разыскивающих любую информацию о предках, дабы воссоздать свою родословную. Одному пареньку он помог из жалости, девице – из-за располагающего к себе бюста, ну и наконец – Магде, поскольку была она прелестна со своей огромной генеалогической диаграммой, напоминающей Древо Иессея^[8]. Кончилось тем, что Магда и ее диаграмма проживали у него целых полгода, на пять месяцев дольше, чем ему бы хотелось. Съезжала она со слезами и осведомленностью, что прапрабабка ее, Цецилия, оказалась незаконнорожденной, ибо в 1813 году окрестила ее повитуха.

Тогда-то он и решил воспользоваться этим генеалогическим безумством и пустить в дело свое умение извлекать сведения из архивов. Его приятно будоражила мысль, что вскоре он заделается своеобразным сыщиком, погруженным в историю. Поначалу он, как и положено в романах и фильмах «нуар», коротал время в ожидании телефонных звонков, пялясь в потолок, однако с течением времени клиенты появились. От случая к случаю и от заказа к заказу их становилось все больше и больше, правда, они отнюдь не напоминали длинноногих брюнеток в фильдеперсовых чулочках. К нему в основном наведывались представители двух человеческих типов. Во-первых – закомплексованные очкарики в пуловерчиках, с выражением «ну что я тебе такого сделал?» на лице, которым не больно-то повезло в жизни, а потому они надеялись обрести ее смысл в давно уже разложившихся предках. Покорно и притом с каким-то облегчением, будто изначально были готовы к подобному удару, принимали они весть, что являются потомками Никого из Ниоткуда.

Представители второго типа – как раз случай Неволина – с самого начала намекали: за подтверждение, что ведут свой род от пьяных кучеров и шлюх, платить они не станут, а раскошелятся на поиски шляхетских предков с гербами и места, куда можно повезти своих детишек, чтобы показать им – вот тут-де стояла усадьба, где прадедушка Поликарп залечивал раны после восстания. Не важно какого. Поначалу Роман был добросовестен до умопомрачения, однако потом пришел к выводу, что он ведь всего-навсего частная лавочка, а не какой-то там исследовательский институт. Раз шляхта подразумевает премии, чаевые и очередных клиентов, то пусть будет шляхта. И пожелай кто-то составить представление о прошлом Речи Посполитой на основании только лишь его изысканий, то быстренько бы

пришел к выводу, что, против ожидания, это страна отнюдь не примитивных крестьян, но благовоспитанных господ, в худшем случае – процветающих мещан. И хотя Роман любыми способами притягивал факты за уши, он никогда не лгал – просто до тех пор копался в боковых ветвях, пока не отыскивал какого-нибудь завалящего помещика.

Но упаси Бог откопать еврея. Ведь говори не говори, что в Польше в межвоенный период евреи составляли десять процентов населения, в связи с чем среди предков обязательно отыщется иудей, особенно в Царстве Польском или Галиции, – аргумент сей никого не убеждал. Два раза с ним такое случилось. В первый раз с ним чисто по-человечески поговорили, а во второй его чуть было не укололи. Сначала он был сильно озадачен, потом на пару дней призадумался и решил: наш клиент – наш хозяин. Как правило, к этой теме он обращался в первый же разговор с заказчиком, и если оказывалось, что она возбуждает излишние эмоции, готов был замести потенциального Ицека под ковер. Однако случалось такое считанные разы – Катастрофа снесла крону генеалогического дерева Израилева.

И вот те на, в документах XIX века всплыла Марьянна Невалина, *de domo*^[9] Кветневская. Чаше всего фамилии от названия месяцев^[10] получали выкресты, именно в тот месяц они и крестились. То же самое с фамилиями, образованными от дней недели или начинающимися с приставки «ново». Да и фамилия Добровольский могла указывать на то, что кто-то из предков добровольно перешел из иудейского вероисповедания в христианское. Роман был уверен, что за всеми этими историями стояла любовь: люди, выбирая между религией и чувствами, отдавали предпочтение вторым. А поскольку католицизм в Речи Посполитой был религией господствующей, то и переход обычно осуществлялся именно в этом направлении.

Собственно, в данный момент Роман мог бы не идти по этому следу – его и без того удивило, что подтвержденные документами корни Невалина уходят так глубоко. Но во-первых, ему самому стало интересно, а во-вторых, его вывел из себя этот прохвост, размахивающий у него перед носом перстнем с пустым местом для герба.

Он включил ноутбук и открыл один из главных своих источников – отсканированный «Географический словарь Королевства Польского и других стран славянских», фундаментальный труд конца XIX века, где было описано практически каждое селение в границах Речи Посполитой еще до ее разделов. В списке названий отыскал Двикозы, село и бывшее церковное хозяйство, насчитывающее 77 изб и 548 жителей. И ни слова о еврейской общине, что вполне естественно, ибо селиться евреям на землях католической церкви было запрещено. Следовательно, если Марьянна была из семьи местных выкрестов, то ее нужно искать или в Сандомеже, или в Завихосте. Он заглянул в сканы и справился, что в Сандомеже насчитывалось 5 еврейских постоянных домов, одна синагога, 3250 католиков, 50 православных, 1 протестант и 2715 евреев. А в Завихосте на 3948 душ населения иудеев числилось 2401. Немало. Взглянул на карту. Интуиция подсказывала ему: Завихост предпочтительней.

Роман отогнал от себя мысль, что впустую тратит время, встал, сделал несколько приседаний, скривился, услышав в коленках хруст, и вышел из читальни. В темном коридоре щелкнул переключателем – никакого эффекта. Щелкнул еще два раза – опять ничего. Огляделся в растерянности. Хоть ему уже приходилось провести ночь в архиве, на сей раз его охватило беспокойство. *Genius loci*^[11], решил он и перевел дух, упрекая себя за буйную игру воображения.

Разозленный, еще раз щелкнул выключателем – несколько коротких вспышек, и

лестничную площадку озарил мертвенный свет люминесцентных ламп. Он бросил взгляд вниз, на готический портал, ведущий из административной части в архив. Выглядел тот – как бы поточнее выразиться? – зловеще.

Чтобы нарушить тишину, он откашлялся и стал спускаться, размышляя по дороге о том, какую пикантность делу Неволлина и его прапрабабки *de domo* Кветневской придает тот факт, что сандомежский архив располагается в помещении синагоги XVIII века. Читальня и комнаты сотрудников архива находились в пристроенном к ней здании, где некогда обитала администрация общины. Сами же метрические книги стояли в главном молитвенном зале синагоги. Это было одно из самых интересных мест, какие он когда-либо видел за свою карьеру хроникального сыщика.

Внизу он толкнул тяжелую обитую декоративными гвоздями железную дверь. В нос ударил ореховый запах столетних бумаг.

Старый молитвенный зал по форме напоминал огромный куб, который весьма хитроумно приспособили под архив. Посреди помещения возвышалась ажурная конструкция, хитросплетение металлических панелей, ступенек и полок. Ее можно было обойти со всех сторон, войти внутрь, в лабиринт узких коридорчиков или же подняться на верхние ярусы и там углубиться в старые книги. Напоминала она как бы сильно вымахавшую биму^[12], где теперь вместо Торы можно было почитать книги, подтверждающие рождение, брачные узы, уплату налогов и вынесенные приговоры. Вот они священные книги современной бюрократической эры, подумал Роман. Не зажигая света, он пошел в обход сооружения, скользя ладонью по холодной оштукатуренной стене. Так дошел до восточной стены, где еще несколько десятков лет назад в нише, именуемой *арон а-кодеш*^[13], хранились свитки Торы. Он зажег фонарик. Луч света пронзил густой пропыленный воздух, извлекая из темноты золотого грифона, удерживающего в когтях доску с древнееврейскими письменами – похоже, одна из Скрижалей Завета, пришло ему в голову. Он направил луч вверх, однако многоцветная роспись вблизи свода тонула во мраке.

По крутым ажурным ступенькам Роман в сопровождении металлического эха поднялся на самый верхний ярус и оказался под сводом. Перемещаясь между полками, заставленными метрическими книгами, он стал рассматривать в свете фонарика знаки зодиака. Дойдя до крокодила, нахмурил брови. Крокодил?! Взглянув на соседний знак – Стрельца, – понял: это вовсе не крокодил, а скорпион. Роман помнил, что в иудаизме нельзя изображать людей, и подошел к Близнецам. Вопреки правилу, у них оказались человеческие фигуры, правда, без головы. Его даже передернуло.

Ну ладно, решил он, хорошенького понемногу. В довершение ко всему он еще заметил обвивавшегося вокруг *окулюса*^[14] левиафана. Дух смерти и истребления всего живого обрамлял пятно сероватого света, напоминающее вход в его подводное царство. Стало как-то не по себе, захотелось немедленно унести отсюда ноги, но в тот самый момент за этим округлым оконцем он краешком глаза уловил некое движение. Он влез с головой внутрь чудовища, однако сквозь грязное оконное стекло вряд ли что разглядишь.

В другой стороне зала скрипнула доска. Роман внезапно разогнулся и больно ударился головой об оконный проем. Выругался, вылез из *окулюса*. И снова скрип.

– Эй, есть там кто?

Посветив фонариком по сторонам, увидел лишь книги, пыль и знаки зодиака.

На сей раз скрипнуло где-то совсем рядом. Роман тихо вскрикнул, а потом с минуту успокаивал дыхание. Доигрался, пронеслось в голове, нельзя так мало спать и глотать

столько кофе.

Быстрым шагом он двинулся в сторону крутой лестницы; от пропасти, зияющей между ним и стеной, его отделяли хлипкие перила. Поскольку освещающие весь зал окна находились как раз на верхнем ярусе, то теперь он шел мимо довольно странных сооружений. Служили они для открывания и мытья окон и смахивали на разводные мосты, застывшие в поднятом положении. Чтобы добраться до окна, следовало отвязать толстый канат и опустить мостик так, чтобы он вошел в оконную нишу. Забавный механизм, подумал Роман, а ведь ни полки с книгами, ни тем более стены не собирались в долгое странствие, почему бы эти мостики не укрепить неподвижно? Сейчас вся эта конструкция напоминала ему готовое отшвартоваться судно с поднятыми трапами. Он скользнул по ней лучом фонарика, подошел к лестнице и было поставил на ступеньку ногу, когда мощный грохот прокатился по всему залу, лестница содрогнулась, а Роман, потеряв равновесие, не рухнул лишь потому, что обеими руками ухватился за поручень. Фонарик полетел вниз, два раза отскочил от пола и потух.

Он выпрямился, сердце колотилось бешено. Все еще в шоке, он быстро осмотрелся. Сорвался мостик, мимо которого он только что прошел. Роман глядел на него, с трудом переводя дыхание. Потом рассмеялся. Похоже, что-то нечаянно задел. Физика – о да, но не метафизика. Всё просто. В любом случае он в последний раз работает по ночам среди всех этих прапратрупов.

Почти на ощупь Роман приблизился к разводному мостику и, пытаясь поднять его, ухватился за канат. Естественно, где-то заело. С проклятьями он вполз на коленях в оконную нишу. Окно выходило на те же кусты, что и охраняемый левиафаном *окулус*.

Теперь внешний мир был единственным и притом невероятно слабым источником света, внутри царила тьма. Предрассветный час сменялся весенней, робкой еще зорькой, из сумерек проступали деревья, дно окружающего Старый город рва, понастроенные на противоположной стороне холма виллы и стены старого монастыря францисканцев. Темный туман постепенно серел, отчего мир выглядел маловыразительно и расплывчато, словно отражался в мыльной воде.

Напрягая зрение, Роман взглянул в то место, куда указывало ухваченное краешком глаза движение, – в кусты под развалинами городской стены. На фоне тускло-серого тумана отчетливо выделялась загадочная стерильная белизна. Он потер рукавом стекло, но затейливый механизм разводного моста явно не способствовал частому мытью окон, и он только размазал грязь.

Роман открыл окно и заморгал – в лицо подул холодный ветерок.

Как плавающая во мгле фарфоровая куколка, подумал Мышинский, глядя на лежащее у стены мертвое тело. Было оно неестественно, до жути белым.

Сзади громыхнули тяжелые двери, словно все находящиеся в синагоге духи выскочили посмотреть, что же произошло.

Сон не шел. Светало, а прокурор Теодор Шацкий всю ночь так и не сомкнул глаз. Хуже того, эта маленькая нимфоманка тоже не спала. Уж лучше почитать, чем так лежать и делать вид, будто спишь. Защекотало за ухом.

– Спишь?

Он пробурчал что-то невнятное, лишь бы отстала.

– А я не сплю.

Пришлось напрячься, чтобы громко не вздохнуть. Он лежал настороженно в ожидании дальнейшего. А то, что оно произойдет, сомнений не оставалось. Горячее тело за его спиной заерзало, замурлыкало – ни дать ни взять персонаж из мультика, которому как раз пришел в голову план овладения миром. А потом он почувствовал болезненный укус в лопатку. Вскочил, в последнюю секунду проглотив непристойность.

– Спятила, что ли?!

Девушка оперлась на локоть и бросила ему кокетливый взгляд.

– Ага. Знаешь, я, наверно, чокнутая, мне пришло в голову, а может, ты еще раз сделаешь мне кайф. О *Джизас*, нет, я все-таки ненормальная.

Шацкий поднял руки – пощади, мол! – и выскочил на кухню закурить. Он был уже возле раковины, когда долетело ее игривое «Я жду-у!». Жди-жди, пробурчал он, натягивая толстовку. Закурил, включил чайник. За окном темно-серые крыши выделялись на фоне сероватых лугов, оттененных от бледного, размытого и еще не проступившего сквозь туман Подкарпатя матовой лентой Вислы. По мосту проехала машина – два перемещающихся во мгле конуса света. Всё в этой картине, включая и белую оконную раму с шелушащейся краской, и отражение бледного лица Шацкого с седой шевелюрой, и черную толстовку – всё было одноцветным.

Чертова дыра, подумал Шацкий, затянувшись сигаретой, – красный огонек нарушил однотонность мира. Что за чертова дыра, где он торчал вот уже несколько месяцев! А спроси его, как до такого дошло, он бы беспомощно развел руками.

Вначале было Дело. Оно ведь у него бывает всегда. Это же оказалось неблагодарным, безнадежным. Началось с убийства украинской проститутки в борделе на Кручей, метрах в ста от его прокуратуры. В подобных случаях обнаружение трупа равносильно закрытию дела – сутенеры и шлюхи тотчас же испаряются, свидетелей по понятным причинам разыскать невозможно, а те, что сами объявляются, ничего не помнят. Хорошо, если удастся опознать жертву.

На сей раз получилось иначе. Появилась подружка убитой, тело обзавелось именем Ирина, у сутенера на фотороботе оказалась вполне симпатичная вывеска, а в прокуратуру Свентокшиского воеводства дело было передано, когда уже набрало обороты.

Две недели ездил Шацкий вместе с Ольгой, переводчиком и проводником по окрестностям Сандомежа и Тарнобжега, чтобы найти то место, где содержали девушек с Востока по приезде в Польшу. Ольга рассказывала им, что видела из окон дома или машины, переводчик переводил, а проводник прикидывал, где бы это могло быть, пересыпая свои догадки шутками-прибаутками, что доводило Шацкого до белого каления. За рулем сидел здешний полицейский, всем своим видом намекая, что время его тратится впустую – ведь он же сразу сказал, что единственный притон в Сандомеже, а вместе с ним и пани Касю, и пани

Беату, которые подрабатывали телом после работы в магазине и детском саду, ликвидировали прошлым летом. А тут остались только потаскушки из пищевого техникума. В Тарнобжеге или в Кельцах – там другое дело!

Но в конце концов они нашли этот дом – где-то на отшибе, в промышленном районе Сандомежа. В приспособленной под спальню теплице загибалась от желудочного гриппа миниатюрная блондинка из Белоруссии. И больше никого. «Поехали на рынок, а как вернутся, прибьют меня», – твердила блондинка. Девичий страх передался всем приехавшим, только не Шацкому. Зато слово «рынок» дало ему пищу для размышлений. Спальня в теплице была отнюдь не маленькой, к тому же на участке стояли большой дом, мастерская и склад. Шацкий мысленно представил себе Сандомеж на карте Польши. Городок с двумя проститутками-шмакодявками. Костелов – хоть пруд пруди. Тихо, сонно, ничего не происходит. До Украины рукой подать. И до Белоруссии недалеко. Двести километров до столицы, еще меньше до Лодзи и Кракова. В общем, недурственное место для перевалочного пункта и торговли живым товаром. Рынок.

Был торговый день. Да еще какой! Большой базар – а по сути, биржа всего, чего душа пожелает, – расположился между Старым городом и Вислой, прямо у кольцевой дороги. Он спросил полицейского, что там происходит. Всё, что угодно, ответил тот, но русаки сводят счеты только меж собой, вмешаясь – статистику попортишь, ничего больше. Иногда загребут какого-нибудь подростка с левыми дисками или травкой, чтоб не говорили, что полиция не интересуется.

Прихватили с собой едва стоящую на ногах девулю, поехали и нашли. Два больших фургона между палатками с женской одеждой, якобы со шмотками, а на самом деле с двадцатью связанными девицами, что приехали в лучший мир. Это был самый большой успех сандомежской полиции с того момента, как отыскала она угнанный велосипед отца Матеуша^[15]. Местные газеты целый месяц ни о чем другом не писали, а Шацкий на какое-то время стал здесь знаменит. Осень была чудесна.

И ему здесь понравилось.

И пришло в голову: а может?..

Пили в пиццерии «Модена», неподалеку от местной прокуратуры, он уже малость опьянел и ради хохмы спросил, нет ли у них вакансии. Есть. Такое тут случается раз в двадцать лет, но как раз сейчас она была.

Он собирался начать новую прекрасную жизнь. Приударять за девушками в клубах, про утрам бегать вдоль набережной Вислы, вдыхать свежий воздух, с головой уйти в любовные похождения, чтоб в один прекрасный день отыскать настоящую любовь и состариться вместе с нею в поросшем виноградом домике где-нибудь поблизости от парка Пищеле. Чтоб было рукой подать до Рыночной площади, где в «Малютке» или «Кордегардии» выпить чашечку кофе. Когда он сюда переезжал, картина представлялась настолько живой, что даже трудно было назвать ее планом или мечтами. Она завладела его жизнью и начала воплощаться в действительность. Он хорошо помнил тот момент, когда на замковой скамейке грелся в лучах осеннего солнца, и тогда-то будущее предстало пред ним настолько ярко, что на глаза навернулись слезы. Наконец-то! Наконец он точно знал, чего хочет.

Что ж, мягко говоря, ошибка вышла. Говоря же грубо, ради бредовой мечты он утопил в дерьме всю свою жизнь, которую выстраивал столько лет, и теперь оказался при пиковом интересе, потеряв абсолютно и решительно всё, так что это похоже было на своего рода самоочищение.

Когда-то он считался знаменитостью в столичной прокуратуре – теперь стал внушающим подозрение чужаком в провинциальном городке, который после шести вечера кажется вымершим, но не потому, что жители поубивали друг друга. Они не убивали в принципе. Даже не пытались. И не насиловали, не организовывали преступных банд. Лишь изредка устраивали драки. Когда Шацкий мысленно припомнил себе дела, которыми он занимается сейчас, его даже слегка затошнило. Такого в Варшаве ждать не приходилось.

Когда-то была семья – теперь пришло сиротство. Когда-то была любовь – теперь одиночество. Когда-то была близость – теперь разобщенность. Кризис, разразившийся из-за какой-то жалкой, мимолетной и никого не удовлетворявшей интрижки с журналисткой Моникой Гжелькой, столкнул его супружество в пропасть, из которой им было не суждено выкарабкаться. Они еще некоторое время жили вместе, якобы из-за ребенка, но за этим уже крылась трусливая агония. Он всегда считал, что заслуживает большего, а Вероника тянет его вниз. Но не прошло и полгода с тех пор, как они окончательно расстались, а она уже стала встречаться с преуспевающим адвокатом, на год помоложе себя. Недавно она лаконично оповестила Шацкого, что решила жить вместе с Томашом в его варшавском доме, а Теодору бы не мешало встретиться и поговорить с тем, кто теперь будет воспитывать его дочь.

Если разобраться, он проиграл все, что только можно. То, что он позвонил Кларе, которую месяц назад закадрил в клубе, а через три дня отшил, ибо при дневном свете она не показалась ему ни красивой, ни умной, ни интересной, – было актом отчаяния и окончательным доказательством его падения.

Он потушил сигарету и вернулся в одноцветный мир. Но только на секунду, ибо тут же на его толстовке проступили длиннющие кроваво-красные ноготки. Он прикрыл глаза, чтобы спрятать раздражение, но грубо оттолкнуть девушку не осмелился – как-никак сначала обольстил ее, а теперь еще и вселил пустую надежду: мол, между ними еще не всё потеряно.

Он послушно поплелся в постель на скучноватый секс. Клара извивалась под ним, как бы восполняя недостаток нежности и фантазии. Взглянув на него, она, видимо, уловила в его лице нечто, что заставило ее постараться чуть больше. Она содрогнулась и застонала.

– Улетаю! Улетаю! О Боже!

Сдержаться не было сил – прокурор Теодор Шацкий покатился со смеху.

Ни один труп не выглядит привлекательно, но бывают такие – хуже не придумаешь. Обнаруженная во рву у городских стен Сандомежа покойница принадлежала к их разряду. Полицейский уже собирался прикрыть обнаженное тело, когда на месте преступления появилась пани прокурор.

– Подожди, не закрывай.

Полицейский поднял голову.

– Иди к черту. Я знал ее с детства, ее нельзя так оставлять.

– Я ее, Петр, тоже знала. Сейчас это не имеет значения.

Прокурор Барбара Соберай осторожно раздвинула еще безлистные ветки и присела на корточки возле тела. Слезы размывали картину. Ей не раз приходилось видеть трупы, чаще всего извлеченные из разбитых автомобилей вблизи окружной, а некоторых она при жизни знала в лицо. Но чтобы мертвой оказалась знакомая, а тем более давнишняя подруга?! Ей ли не знать, что люди совершают преступления и что можно стать их жертвой. Но увиденное не укладывалось в голове.

Она откашлялась, пытаясь прочистить горло.

– Гжесек уже знает?

– Я думал, ты сама ему скажешь. Ты ведь...

Барбара взглянула на него и уже хотела разрыдаться, но вовремя осознала, что Маршал – таким прозвищем полицейского наградили в Сандомеже – прав. Долгие годы она была подругой счастливого семейства Эльжбеты и Гжегожа Будников. Когда-то даже ходили толки, мол, не вернись Эля в свое время из Кракова, кто знает, чем бы всё закончилось. Что ж, толки и старые истории... но ведь и в самом деле, если кому-то полагалось поставить Гжесека в известность, то только ей. К сожалению.

Она тяжело вздохнула. Несчастливым случаем тут не пахло. Вряд ли на Эльжбету напал какой-нибудь пьяный скот, избил или изнасиловал. Кому-то пришлось немало потрудиться, чтоб ее убить, потом догола раздеть и оставить в кустах. Да еще это... Барбара старалась не смотреть в ту сторону, но взгляд все время возвращался к обезображенному горлу покойницы. Располованное поперек в нескольких местах оно напоминало жабры с узкими полосками кожи, меж ними виднелись сосуды, гортань и пищевод. Но выше страшной раны лицо было на удивление спокойным, даже слегка улыбалось, и в сочетании с необычной гипсовой белизной кожи казалось чем-то нереальным напоминающим посмертную маску. Не исключено, что Эльжбету убили во сне, подумалось Барбаре, или когда она лишилась чувств. Хотелось бы верить.

Подошел Маршал, положил ей руку на плечо.

– Сочувствую, Бася.

Она дала знак, чтобы прикрыли тело.

Такие захолустные дыры имеют свои сильные стороны – до любого места рукой подать. Едва позвонила начальница, как Шацкий, не мешкая, с облегчением оставил Клару в своей съемной *кавалерке*^[16] на Длугоша. Маленькая, страшенькая, запущенная, у нее было только одно преимущество – положение: в Старом городе, с видом на Вислу и старую-престарую среднюю школу, которую возвели иезуиты еще в XVII веке. Он вышел из дому и, оскальзываясь на влажной брусчатке, быстрым шагом добрался до Рыночной площади. Воздух был еще по-зимнему бодрящим, но угадывалось, что через считанные минуты все изменится. Туман редел с каждым шагом, и Шацкому хотелось надеяться, что сегодняшний день станет первым настоящим весенним днем. Как же ему не хватало чего-нибудь позитивного! К примеру, чтоб грело солнце.

Он пересек совершенно пустую Рыночную площадь, миновал здание почты, расположенной в изумительной красоты доме с аркадами, и, приближаясь к Еврейской, издавдала завидел проблески красноватых огоньков. Вид полицейских маячков в рассветном тумане задел в нем самую чувствительную струну – для него это была часть ритуала. Утренний телефонный звонок, он высвобождается из нежных объятий Вероники, одевается в темной прихожей, а перед уходом целует в теплый лобик спящего ребенка. Потом едет через всю пробуждающуюся к жизни столицу, гаснут фонари, ночные автобусы съезжаются в депо. На месте преступления скептическая ухмылка Кузнецова^[17], потом труп, позже кофе на площади Трех Крестов. А немного погодя пререкания с кудахтающей начальницей в прокуратуре: «Видимо, наши кабинеты находятся в разных пространственно-временных измерениях, пан прокурор Шацкий».

На сердце заскребли кошки. Он миновал здание синагоги и, цепляясь за ветки, стал спускаться по откосу. Рыженькую гриву недотроги Соберай он узнал сразу. Она стояла с опущенной головой – можно подумать, что пришла сюда не заниматься следствием, а прочесть отходную. Разделяя ее горе, на плечо пани прокурору положил руку толстяк-полицейский. Шацкий и раньше догадывался, что город, в котором костелов больше, чем кафе, должен непременно оставить болезненный отпечаток на психике жителей. Сейчас он такое и наблюдал. Соберай обернулась, сильно удивившись его приходу. Она была явно недовольна.

Он кивнул присутствующим, подошел к телу и бесцеремонно приподнял прикрывающий его полиэтилен. Женщина. Лет сорока – пятидесяти. Изуродованное горло, иных повреждений не видно. Непохоже на нападение, скорее какое-то странное убийство в состоянии аффекта. Но в общем труп как труп. Он хотел было вновь прикрыть тело, но что-то не давало ему покоя. Осмотрел еще раз и еще, с головы до пят, взглядом сфотографировал место преступления. Что-то было не так, что-то решительно было не так, а он не имел понятия, в чем дело, и это не давало ему покоя. Он откинул пленку, кто-то из полицейских пристыженно отвел взгляд. Непрофессионалы.

Он уже знал, что тут было не так. Белизна. Неестественная белизна тела, какой в природе не встретишь. И что-то еще.

– Прошу прощения, но это моя знакомая, – отозвалась за его спиной Соберай.
– Это была ваша знакомая, – буркнул Шацкий. – Где криминалисты?
Молчание. Он обернулся и взглянул на толстяка-полицейского – лысого, с пышными

усаами. Как его тут бишь величают? Маршал? Очень оригинально.

– Где криминалисты? – переспросил он.

– Сейчас подойдет Марыся.

Все здесь называли друг друга по имени. Все они тут друзья, черт бы их побрал, секта местечковая.

– Вызовите группу из Кельц, пусть захватят с собой все свое хозяйство. А пока – тело прикрыть, территорию в радиусе пятидесяти метров огородить, никого не подпускать. Ротозеев держать как можно дальше. Оперативник уже прибыл?

Глядя на Шацкого как на пришельца и вопросительно на Соберай – та стояла потрясенная, – Маршал поднял руку.

– Ладно, с этим закончили. Теперь так: я знаю, что туман, темно и ни хрена не видно. Но всех проживающих в этих домах, – он показал рукой на дома на Еврейской, – и в тех домах, – он повернулся и показал на виллы по другую сторону рва, – допросить. А вдруг кто-то страдает бессонницей, или мается простатой, или, как ненормальная домохозяйка, перед выходом на работу варит рассольник-свекольник. Нас интересует тот, кто что-то видел. Ясно?

Маршал закивал головой. Тем временем к Соберай вернулась уверенность, она подошла и встала так близко, что он почувствовал ее дыхание. Была она женщина высокая, их глаза оказались почти на одном уровне. На деревне девки статны, подумал Шацкий, преспокойно ожидая, что будет дальше.

– Извините, так это вы теперь ведете следствие?

– Ну.

– А можно узнать, с какой это радости?

– Попробую угадать. Возможно, потому, что речь идет не о пьяном велосипедисте и не о краже мобильного в школе?

Темные глаза Соберай почернели.

– Иду к Мисе, – прошипела она.

Чтоб не рассмеяться, Шацкому пришлось напрячь все силы. Боже, они и вправду называли свою начальницу Мисей.

– Чем быстрее, тем лучше. Кстати, это она вытащила меня из постели, где я неплохо проводил время, и велела заняться делом.

Казалось, Соберай вот-вот вспылит, но она резко развернулась и отошла прочь, покачивая бедрами. Узкими и малопривлекательными, оценил Шацкий, провожая ее взглядом. Он повернулся к Маршалу.

– Кто-нибудь из следственного прибудет? Или они начинают работу в десять?

– Я здесь, сынок, – донеслось сзади.

За его спиной на раскладном стульчике для рыболова-спортсмена примостился усатый дед – здесь они почти все носили усы – и дымил сигаретой без фильтра. Не первой. По одну сторону стульчика лежало несколько оторванных фильтров, по другую – несколько бычков. Шацкий виду не подал, что удивлен, и подошел к старику. У того были совершенно седые, коротко стриженные волосы, изборожденное морщинами, как на автопортрете Леонардо, лицо и светлые, водянистые глаза. Зато хорошо ухоженные усы были иссиня-черными, что придавало ему демонический, настораживающий вид. Старику было под семьдесят. Если меньше, значит, жизнь его оказалась богатой катаклизмами. Дед взирал на него со скупающей миной, Шацкий протянул руку.

– Теодор Шацкий.

Старый полицейский потянул носом, отложил чинарик и, не вставая, подал руку.

– Леон.

Он задержал руку Шацкого в своей и, воспользовавшись помощью, встал. Был он высок, худощав и без толстой куртки и шарфа выглядел бы, наверно, как стручок ванили – тонкий, согнутый и морщинистый. Шацкий отпустил руку деда и ждал продолжения. Но его не последовало. Старик взглянул на Маршала, и тот подскочил к нему, словно был на резиночке.

– Слушаю вас, пан инспектор?

Ошибка какая-то. Слишком высокий чин для провинциального оперативника.

– Выполняйте всё, как велел прокурор. Кельцы будут здесь через двадцать минут.

– Но это ведь почти сто километров, – возразил Шацкий.

– Я их вызвал час назад, – пробормотал дед. – А потом ждал, когда дамы и господа прокуроры изволят пожаловать. Хорошо, хоть стульчик с собой прихватил. Кофе?

– Не понял?

– Кофе пьете? «Башмачок» открывают в семь.

– Лишь бы там ничего не брать на зуб.

Дед кивнул с уважением.

– Молодой, приезжий, а учится быстро. Тогда пойдемте, хотелось бы вернуться, прежде чем подъедут ребятишки из Кельц.

Ресторанный зал в гостинице «Под башмачком», расположенной в самом привлекательном для туристов месте – на Рыночной площади, по пути к кафедральному собору и замку, – выглядел так, будто время остановилось здесь лет десять назад. Большое неуютное пространство, накрытые скатертью, а сверху еще и салфеткой столы, обитые плюшем стулья с высокими спинками, на стенах бра, под балочным потолком люстры. Чтобы добраться до их столика, цокающей каблучками официантке пришлось отмахать такое расстояние, что Шацкий был уверен: кофе по дороге остынет.

Но не остыл, зато чувствовалась в нем едва уловимая нотка грязной тряпки – видно, что в этом храме сандомежского общепита эспрессо-автомат в списке предметов ежедневного мытья значился далеко не на первом месте. Нашел чему удивляться, подумал Теодор Шацкий.

Инспектор Леон молча пил кофе, уставившись в окно на аттик ратуши, – Шацкого могло тут вообще не быть. Решив приноровиться к деду, он терпеливо ждал, когда наконец услышит, зачем его сюда позвали. Наконец Леон отставил чашку, кашлянул и, оторвав от сигареты фильтр, тяжело вздохнул.

– Я вам помогу. – У него был неприятный, скрипучий голос.

Шацкий вопросительно взглянул на него.

– Вы кроме Варшавы где-нибудь жили?

– Только сейчас.

– В таком случае ни хрена-то вы о жизни не знаете.

Шацкий промолчал.

– Но это не грех. Каждый ребенок ни хрена о жизни не знает. Но я вам помогу.

В Шацком нарастало раздражение.

– А помощь эта входит в круг ваших обязанностей или имеется в виду нечто дополнительное? Мы ведь пока незнакомы, и мне трудно оценить степень вашего благородства.

Только теперь Леон внимательно взглянул на прокурора.

– Серединка на половинку, – ответил тот без улыбки. – Но мне просто интересно, кто же зарезал и подкинул в кусты жену этого паяца Будника. Интуиция подсказывает, что вам это дело окажется под силу. Однако вы нездешний. С вами каждый будет разговаривать, но никто ничего не скажет. На мой взгляд, так оно и лучше, чем меньше информации, тем в голове чище.

– Чем больше информации, тем ближе к правде, – ввернул Шацкий.

– Знаете, как оно бывает с правдой: если ее избыток плавает в дерьме, она от этого не становится правдивее, – заскрипел инспектор. – И не прерывайте меня, молодой человек. Иногда вам захочется понять, кто с кем и почему. Вот тут-то я вам и сгложусь.

– Вы, что же, со всеми дружите?

– Я плохо схожусь с людьми. И перестаньте задавать вопросы, которые не имеют никакого значения, иначе я изменю о вас мнение.

У Шацкого была на уме парочка-другая важных вопросов, но он оставил их на потом.

– И я бы предпочел, чтобы мы остались при вежливой форме обращения, – закончил полицейский.

Шацкий не подал виду, насколько это предложение ему по душе. Он просто кивнул.

Ротозеев становилось все больше и больше, хорошо хоть держались прилично. Из приглушенных разговоров Шацкий уловил фамилию «Будник» – а возможно, «Будникова». На минутку задумался, стоит ли ему первым делом разузнать, кем была жертва. Решил, что не стоит. Сейчас ему нужен тщательный осмотр места преступления и тела. Остальное подождет.

Вместе с инспектором, у которого тем временем появилась фамилия Вильчур, они стояли возле отгороженного ширмой тела, а келецкий криминалист делал снимки. Шацкий всматривался в педантично располозованное горло, выглядевшее так, будто его подготовили для урока анатомии. Что здесь не так? Конечно, он найдет его, но хотелось бы уже сейчас, прежде чем начнутся допросы свидетелей и поиск экспертов. Подошел шеф группы осмотра места преступления, симпатичный тридцатилетний парень с глазами навыкате и повадками дзюдоиста. Представившись, вперил в Шацкого рыбий взгляд.

– И откуда ж вас занесло в наши края, пан прокурор? Просто любопытно, – поинтересовался он.

– Из столицы.

– Неужто из самой *Варшавки*?^[18] – Он даже не пытался скрыть удивления, будто следующий вопрос подразумевался: а за что выперли-то? За пьянство, наркотики или всякие там шуры-муры?

– Как я и сказал: из столицы. – Шацкий не любил слово «варшавка».

– Провинились или как-то так вышло?

– Как-то так.

– Ага, – полицейский еще с минуту подождал продолжения задушевного разговора, но потом отступился. – Кроме тела, ничего не найдено, никакой там одежды, сумочки или украшений. Следов, что ее волокли, нет, следов борьбы – тоже. Верней всего, ее сюда принесли. Мы сделали слепки отпечатков автомобильных шин внизу оврага и ботинка – они были свежими. Все найдете в протоколе, но на многое я бы не рассчитывал, разве что осмотр тела даст больше.

Шацкий кивнул. Нельзя сказать, что его это особо огорчило. Во всех своих делах он опирался на показания, а не на собранные вещественные доказательства. Понятное дело, было бы недурственно найти в кустах орудие преступления и паспорт убийцы, но он для себя уже давно выяснил, что слово «недурственно» и его жизнь никак не стыкуются.

– Пан комиссар! – крикнул один из криминалистов, прочесывающих кусты на откосе.

Дзюдоист дал знать, чтобы его подождали, и поспешил к развалинам городской стены. Некогда она защищала город, в настоящее же время служила в основном для распития под своей сенью традиционного польского напитка. Шацкий отправился вслед за комиссаром, а тот, присев под стеной на корточки, уже раздвигал еще голые ветки и прошлогоднюю траву. Вдруг рука его, обтянутая латексной перчаткой, стала что-то осторожно вытаскивать. Солнце как раз пробилось сквозь тучи и полыхнуло на этом предмете так ярко, что Шацкого на мгновение ослепило. Он сморгнул, чтобы разогнать черных мушек перед глазами, и теперь мог разглядеть в руках у комиссара довольно странноватый нож. Дзюдоист осторожно опустил его в герметичный пакет для вещественных доказательств и протянул Шацкому. Однако орудие было, по всей вероятности, чертовски острым, ибо пакет под его тяжестью

прорвался, и оно упало на землю. То есть упало бы, если б не техник – тот все еще сидел на корточках и поймал его в самый последний момент за рукоять. Поймал и взглянул на присутствующих.

– Так и без пальцев можно остаться, – хладнокровно заметил Дзюдоист.

– И заляпать своей кровью орудие преступления. Кретин, – флегматично отозвался Вильчур.

Шацкий взглянул на старого полицейского.

– Откуда вы взяли, что это орудие преступления?

– Предполагаю. Если под одним кустом мы находим ровнехонько располосованное горло, а под другим – острую, как самурайский меч, бритву, следовательно, между ними возможна какая-то связь.

«Бритва» – очень хорошее название для ножа, который Дзюдоист опускал во второй пакет, на сей раз осторожнее. У него был прямоугольный, блестящий как зеркало клинок с абсолютно прямым лезвием. Рукоять из темной древесины казалась слишком изящной и маленькой по сравнению с клинком – тот был внушительных размеров, длиной сантиметров тридцать, а шириной – десять. Настоящая бритва для какого-нибудь великана, у которого ряшка с фургон. На клинке и на рукояти никаких украшений, по крайней мере, на первый взгляд. Это не походило на игрушку коллекционера, это было орудием – возможно, преступления, но прежде всего орудием специального назначения. Явно не для бритья женских ног.

– Дактилоскопия, микроследы, кровь, выделения, ДНК, химия, – перечислял Шацкий. – И как можно быстрее. А на сегодня мне бы хотелось иметь снимки этой штуковины во всех ракурсах.

Он вручил Дзюдоисту свою визитную карточку. Тот спрятал ее в карман, подозрительно глядя на огромную бритву.

Вильчур оторвал фильтр от очередной сигареты.

– Не нравится мне это, – отозвался он. – Уж больно как-то надуманно.

Прокурору Теодору Шацкому не везло с начальницами. Предыдущая технократка-мегера была холодна и привлекательна, как выкопанный из-под снега труп. Не раз сидя у нее в кабинете, вдыхая дым ее сигарет и изнывая от ее кокетства (это при абсолютном-то отсутствии женственности), он задавался вопросом: неужто бывает хуже? Вскоре злорадная судьба удовлетворила его любопытство.

– Не стесняйтесь, угощайтесь. – Мария Мищик, которую, к ужасу Шацкого, все, в том числе и она сама, называли Мисей, пододвинула ему торт чуть ли не под самый нос. Состоял он из шоколадно-вафельных слоев, бисквита и, кажется, безе.

Начальница послала ему лучезарную улыбку.

– А под безе я подпустила тонюсенький слой сливового повидла. У меня еще с прошлого года осталось. Угощайтесь.

Шацкому кусок в горло не шел, но умильное выражение глаз Мищик было под стать взгляду кобры. Подчиняясь воле начальницы, рука, будто чужая, потянулась к торту, взяла кусочек и положила Шацкому в рот. Он криво осклабился, крошки посыпались на костюм.

– Ну хорошо, Бася, так скажи нам, в чем дело, – изрекла Мищик, отодвигая блюдо в сторону.

Соберай сидела на кожаной софе (польская мода восьмидесятых годов), от примостившегося в кресле Шацкого ее отделял стеклянный столик. Если Мищик хотела создать в своем кабинете домашнюю обстановку по образцу и подобию типичной мебелировки польских квартир, успеха она, несомненно, добилась.

– Я бы хотела понять, – Соберай не могла, а возможно, и не старалась скрыть обиду в голосе, – почему в течение семи лет я самостоятельно вела расследования в нашей прокуратуре, а сейчас меня отставляют от убийства Эли. И я бы хотела знать, почему этим расследованием должен заниматься Теодор: не собираюсь отрицать его успехов, но он ведь еще не знает специфики нашего города. И не скрою, что мне было больно узнать об этом именно таким образом. Ты бы могла меня предупредить, Мися.

Лицо Мищик сделалось по-матерински озабоченным. От нее исходило столько тепла и понимания, что Шацкий ощутил запах детсадовской столовой. Беспокоиться нечего, воспитательница наверняка найдет выход из затруднительного положения, и никому не станет обидно. А потом она их обнимет и прижмет к своей груди.

– Знаю, Бася, извини. Но когда я узнала об Эле, надо было действовать быстро. В нормальной ситуации подобное дело ждало бы тебя. Но это ситуация не нормальная. Эля – твоя близкая подруга, Гжегож был с тобой связан. Ты дружила с ними, встречалась. Любой адвокат мог бы это использовать против нас.

Соберай прикусила губу.

– Ко всему прочему, эмоции не помогают в следствии, – добил ее Шацкий, взяв второй кусок торта и улыбнувшись в ответ на ее убийственный взгляд.

– Хрен вам что известно о моих эмоциях.

– Благословенно неведение.

Мищик хлопнула в ладоши и взглянула на них так, словно хотела сказать: «А ну-ка, дети, прекратите». Шацкий решил не опускать взгляда и выдержал упрек мягких, умильных, материнских глаз.

– Дорогие мои, грызней займетесь потом. А сейчас я вам скажу...

Соберай вздрогнула и застрекотала. Сколько таких вот невротичных красоток видел Шацкий в своей жизни? Легион.

– Надеюсь, что...

– Бася, – оборвала ее Мищик. – Я не прочь выслушать твое мнение и твои пожелания. Ты ведь знаешь, я всегда охотно тебя выслушиваю, так ведь? А сейчас я скажу, как выглядит ситуация в профессиональном плане.

Соберай тут же прикусила язычок, а Шацкий внимательно взглянул на Мищик. Она все еще была мамочкой с мягким выражением глаз и улыбкой детского врача, мамочкой, от которой исходил аромат ванили и разрыхлителя теста. Но если не обращать внимания на форму ее последнего высказывания, получалось, что начальница решительно поставила на место свою подчиненную и приятельницу.

Мищик долила всем чаю.

– Как и все вы, я знала Элю Будникову, знаю также Гжесека. Нам необязательно его любить или разделять его мнение, но без него здесь не обойдется. Дело будет большим и громким, оно уже такое. И положение, когда ведет это дело подруга жертвы...

– И главного подозреваемого, – вернул Шацкий.

Соберай фыркнула.

– Выбирайте слова. Вы этого человека не знаете.

– А мне и не нужно знать. Он – муж жертвы, и на начальном этапе сам этот факт уже делает его главным подозреваемым.

– Вот-вот. – Соберай триумфально вскинула руки. – Именно поэтому Шацкому надо держаться от этого дела подальше.

Мищик подождала, пока вновь не воцарится тишина.

– Именно поэтому прокурор Шацкий не только не будет держаться в стороне от этого дела, он будет вести расследование. Я хочу избежать ситуации, когда труп, подозреваемые и следователь – все из одной теплой компании, которая не далее как вчера договаривалась устроить гриль. Но ты, Бася, права, пан Теодор тут человек новый. Поэтому ты поможешь ему советом и всяческой информацией о городе и его жителях.

Шацкий с облегчением вздохнул – удалось проглотить большой кусок торта. Кого-то ждет забойное развлечение, решил он. Соберай, надувшись, неподвижно сидела на софе. Мищик материнским взглядом окинула стол и развернула торт на сто восемьдесят градусов.

– С этой стороны больше повидла, – театрально прошептала она и положила себе кусочек.

Шацкий выждал некоторое время и, решив, что аудиенция подошла к концу, встал. Мищик сделала ему знак рукой – мол, дайте проглотить, скажу еще что-то.

– Встречаемся здесь в девятнадцать. Я хочу взглянуть на первые протоколы и подробный план следствия. Всех газетчиков отсылайте ко мне. Если я сочту, что взаимная неприязнь становится для вас помехой в следствии...

Соберай и Шацкий впились глазами в пухлые, облепленные крошками торта губы начальницы, а она ими тепло улыбалась.

– ...устрою вам такое – век не забудете. А из доступного для вас трудоустройства в госучреждениях останется лишь мытье полов в кутузке. Ясно?

Шацкий кивнул, поклонился обеим дамам и взялся за дверную ручку.

– Насколько я понимаю, мне надо кому-то передать свои остальные дела.

Мищик расплылась в улыбке. Он понял, что сморозил глупость. Просто оскорбил ее, думая, что она этого не учла. Наверняка все уже устроено, а секретарша выносит из его кабинета ненужные папки.

— Вы, кажется, спятели. За работу.

Стоя в своем кабинете у окна, прокурор Теодор Шацкий размышлял: а ведь у провинции есть и хорошие стороны. У него, к примеру, появился просторный личный кабинет, из такого в Варшаве выкроили бы три комнатки и в каждую втиснули по два человека. Из окна простирался вид на зелень, виллы, башни Старого города вдали. С работы до дома – минут двадцать пешком. Несгораемый шкаф, а в нем папки со всеми восьмью текущими делами – ровно на девяносто семь меньше, чем в Варшаве полгода назад. Зарплата – та же, что и в столице, а превосходный кофе в любимой кофейне на Сокольницкого стоит всего пять злотых. Ну и, наконец – хоть и стыдно, но скрыть удовлетворения он не мог, – у него появился приличный труп. И вот, как по мановению волшебного жезла, эта кошмарная, сонная дыра стала вполне сносным жизненным пространством.

Хлопнула дверь. Шацкий обернулся и присовокупил к сильным сторонам провинции еще и партнершу, которая из своего предменструального синдрома сделала способ существования. Он непроизвольно напустил на себя холодную профессионально-прокурорскую серьезность, наблюдая за тем, как недотрога Соберай подходит к нему с папочкой в руке.

– Вот. Как раз пришло. Надо просмотреть.

Шацкий жестом указал ей на диван (да-да, у него в кабинете стоял диван!), и они уселись рядышком. Он вскинул глаза на ее грудь, на то место, где должно быть декольте, но ничего интересного там не обнаружил – место было наглухо задраено асексуальной черной водолазкой. Он открыл папку. Первый снимок представлял собой крупный план изувеченного горла жертвы. Соберай громко вздохнула и отвернулась, а Шацкий хотел уже было отпустить колкость, но ему стало ее жалко, и он оставил злопыхательство при себе. Разве ж они виноваты, что все, вместе взятые, за всю свою жизнь видели столько же трупов, сколько он в течение одного года.

Шацкий отложил снимки в сторону.

– Надо подождать до осмотра тела. Пойдете со мной на Очко?^[19]

Она непонимающе взглянула на него.

– Извините. В больницу. На вскрытие.

В ее глазах блеснул испуг, но она быстро взяла себя в руки.

– Кажется, мы должны быть там оба.

Шацкий поддакнул и разложил на столе несколько снимков бритвы. Судя по находящейся под ней линейке, орудие имело сантиметров сорок – а то и больше – в длину, причем само лезвие – около тридцати. Рукоять из темной древесины, на латунной оправе что-то выгравировано. Шацкий поискал фотографии с крупным планом. Потертая надпись гласила: С. RENEWALD. На одной из таких фотографий он разглядел отражающуюся в зеркальной поверхности клинка руку женщины-фотографа. Судя по обручальному кольцу, замужней. На голубоватой плоскости ножа не было ни пятен, ни царапин, ни зазубрин. Шедевр металлургического искусства – сомнений быть не могло. Причем шедевр старинный.

– Полагаете, это орудие преступления?

Шацкий полагал, что все эти формы вежливости его уже начинают сильно утомлять, а что будет дальше, в процессе расследования?!

– Полагаю, что все это довольно странно, театрально. Обнаженное тело с

изуродованным горлом, брошенная рядом старинная бритва-мачете, никаких следов борьбы или хотя бы возни.

– И крови на лезвии.

– Дадим возможность высказаться лаборатории. Думаю, появится и кровь, и микроследы, и ДНК. И сам нож скажет нам больше, чем тот, кто его подбросил.

– Подбросил?

– Такой чистенький, холеный, девственный?! Нет, его подбросили специально. В каждом, даже самом грязном убийстве в состоянии аффекта любой бандюга не забудет прихватить с собой орудие преступления. Не верю, чтоб его забыли в кустах.

Соберай вынула из сумочки очки для чтения и принялась внимательно рассматривать фотографии. Ей шла эта массивная коричневатая оправка. Шацкому пришло в голову: если бритва-мачете – сообщение, то нужно найти человека, который смог бы его прочесть. Что за эксперт, черт побери, этим занимается? По холодному оружию? По военному делу? По металлургии? По произведениям искусства?

Соберай вернула ему снимки и сняла очки.

– Надо поискать эксперта по холодному оружию, лучше всего среди музейных сотрудников. Может, кто-то знает эту фирму.

– Эс Рюнвальд? – спросил Шацкий.

Соберай расхохоталась.

– Грюнвальд! Время заказать себе очки, пан прокурор.

Шацкий решил не реагировать. Никаких улыбочек, никаких нервов, никакой ответной реплики.

– Время рассказать мне о жертве и ее семье.

Соберай скисла.

Прокурор Теодор Шацкий остался недоволен. Рассказ Соберай о семье Будник содержал в себе массу информации, но также и обилие чувств и переживаний. В результате Эльжбета Будникова перестала быть для него жертвой противозаконного действия, за которое преступника следовало привлечь к ответственности и наказать, а муж жертвы – подозреваемым номер один. В красочном, эмоциональном рассказе Соберай супруги явились людьми из плоти и крови. Теперь, вопреки приобретенным навыкам, Шацкий, думая об убитой, видел усмешливую учительницу, ведущую уроки на лоне природы во время велосипедных экскурсий. Муж ее оказался не только кандидатом в каталажку, но также общественным деятелем, который умел до последнего сражаться за любое, пусть даже пустячное дело, если оно означало пользу для Сандомежа. Да найдется ли где угодно в Польше еще один беспартийный депутат, умеющий склонить местный совет к единогласному решению во благо своего города?! Все, хорош, баста! Ему не хотелось думать о Будниках до тех пор, пока он не поговорит со старым полицейским – тот уже дал понять, что не самого лучшего мнения об этих «праведниках».

Шацкий старался занять мысли поиском информации о таинственной бритве-мачете, и это стало еще одним поводом его недовольства. Теодор Шацкий, вообще говоря, не питал доверия к людям. А к людям с хобби – особенно. Страсть и самопожертвование ради страсти, особенно собирательской, он считал болезнью, а людей, способных заикнуться на чем-то, – потенциально опасными. Он повидал на своем веку самоубийства из-за пропажи нумизматической коллекции, знал также двух жен, вина которых состояла в том, что одна из них порвала ценнейшую марку, другая же сожгла первое издание ивашкевичевских «Барышень из Вилько» и «Березняка». Обе отошли в иной мир. А мужья-убийцы всю ночь напролет провели с покойницами, рыдая и не понимая, как до этого могло дойти.

А мир ножей оказался как раз миром почитателей и коллекционеров этого холодного оружия, существовало даже периодическое издание «Лезвие», миссия которого, как убеждали авторы, состояла в том, чтобы «предоставить тебе, дорогой читатель, обширную информацию о ножах высокого качества и о том, что с ними связано. В добавок здесь ты найдешь любопытные детали. Например, в следующем номере разговор пойдет о плети. Казалось бы, экзотический предмет, а ведь плели ее в Польше с давних времен. Разумеется, появится также и серия статей о холодном оружии с длинным клинком».

Плети, сабли и мясницкие ножи – вот уж и впрямь симпатичненькое хобби, злился Шацкий, углубляясь в форумы, где велась дискуссия о клинках, рукоятях, способах заточки, ковки и нанесения уколов. Он читал откровения одного писаки, который собственноручно изготавливал самурайские мечи, читал об «отце современного дамаска», овладевшим технологией производства дамасской стали, рассматривал снимки военных кортиков, охотничьих ножей для разделки дичи, мечей, штыков, рапир и палашей. Он и не предполагал, что человечество изобрело такое количество видов острых предметов.

Но бритвы-мачете не нашел.

Отчаявшись, он щелкнул телефоном пару снимков предполагаемого орудия преступления и выслал в редакцию «Лезвия» мейл с вопросом: говорят ли им что-нибудь эти фотографии?

Весна как пришла, так и ушла, и вечером, шагая по Мицкевича в пиццерию «Модена», где он условился с Вильчуром, Теодор Шацкий продрог до костей. Старый полицейский и слышать не хотел, чтобы встретиться на Рыночной площади, он – по его выражению – не терпит этот зачуханный скансен^[20], и Шацкий, который жил в Сандомеже уже достаточно долго, понял, что тот имел в виду.

Сандомеж, если разобраться, – это два, а то и три города. Третий – район стекольного завода по другую сторону реки – был памятью о тех временах, когда партийцы решили превратить мещанский, религиозный город в промышленный центр и отгрохали там гигантский стекольный завод. Район понурый, страшноватый, пугающий своей бездействующей железнодорожной станцией, невзрачным костелом и огромной фабричной трубой, которая, когда ни посмотришь с высокого левого берега Вислы – днем ли, ночью ли, – портила панораму Подкарпатья.

Жизнь фактически протекала в городе номер два. Это был небольшой район, меньшую часть его (и слава Богу) занимали панельные дома, в основном же здесь находились односемейные домики, школы, парки, кладбище, воинская часть, полиция и автовокзал, маленькие и большие магазины, библиотека. Этаким типичный польский городок гминного значения, разве что более ухоженный и более привлекательный, ибо, в отличие от иных, был он расположен на холмах. Но на фоне польской глубинки остался бы неприметен, если б не город номер один.

А город номер один – это Сандомеж с почтовых открыток, это город отца Матеуша и Ярослава Ивашкевича, это расположенное на возвышенности чудо из чудес. Панорама города неизменно восхищала каждого, в нее-то в свое время и влюбился Шацкий. Он все еще приходил на мост только затем, чтобы взглянуть на возвышающиеся на склоне дома величественное здание Коллегии, на башни ратуши и кафедрального собора, на ренессансный щипец Опатовских ворот и громадину замка. Смотря по тому, какое было время года и дня, вид этот всякий раз представлялся иначе и всякий раз у него перехватывало дыхание.

Увы и ах, но Шацкий уже знал, что эта панорама напоминала нечто итальянско-тосканское только издали. Внутри же Старого города все было донельзя польским. Слишком далеко был Сандомеж от Кракова и в первую очередь от Варшавы, чтобы стать курортом типа Казимежа-Дольного. А заслуживал во сто крат больше, будучи городом красивым, а не деревней с тремя ренессансными домиками и дюжиной гостиниц, где в уик-энд любой польский начальник мог поразвлечься со своей милашкой. Находился он на отшибе, а потому на очаровательных улочках старинного Сандомежа пахло скукой, пустотой, польской безнадегой и «зачуханным скансеном». Уже после полудня исчезали школьные экскурсии, старые жильцы прятались по домам, потом закрывались немногочисленные магазины, а чуть позже – закусочные и бары. Случалось, что уже в шесть вечера Шацкий, идя от замка к Опатовским воротам, не встречал на улице ни единой живой души. Одно из красивейших мест в Польше было опустевшим, вымершим и удручающим.

Шацкий и вправду почувствовал себя лучше, когда спустился по улице Сокольницкого и вдоль Мицкевича зашагал к «Модене». Появились автомобили и люди, заполнились магазины, кто-то ел пончик, кто-то бежал к автобусу, кто-то кричал женщине на другой

стороне улицы: «Сейчас-сейчас, минуточку». Шацкий с облегчением вздохнул – он боялся признаться самому себе, что очень тосковал по настоящему городу. В такой степени, что даже его подобие, каким был Сандомеж, заставляло сердце учащенно биться.

«Модена» была захолустной, шибяющей в нос пивом забегаловкой, но, чего греха таить, – здесь подавали самую вкусную в Сандомеже пиццу; из-за аппетитной «романтики» с двойной порцией моцареллы холестерин Шацкого подскочил, и, поди, не один раз. Инспектор Леон Вильчур, как и положено городскому сыщику, сидел, прислонившись к стене, в самом темном углу. Без куртки он казался и вовсе тощим, и Шацкому вспомнился аттракцион «кривые зеркала», который он посещал в школьные годы. Кожа да кости.

Он молча сел напротив старого полицейского и стал перебирать в уме вопросы, которые хотелось задать.

– Догадываетесь, кто это сделал?

Вильчур взглядом одобрил вопрос.

– Ума не приложу. Не знаю никого, кому бы хотелось и кто бы извлек из этой смерти какую-то выгоду. Я бы грешил на кого-то из пришлых, но наверняка это дело местного. Не верю в чужаков, которые бы вот так постарались.

Сказанное, по сути, давало ответ на все ключевые вопросы Шацкого. Пора переходить к дополнительным.

– Пиво или водка?

– Вода.

Шацкий заказал воду, а себе – колу и «романтику». После чего стал вслушиваться в скрипящий голос Вильчура, составляя в уме протокол расхождений между рассказом старого полицейского и слащавой историей Соберай. Сухие факты были те же. Гжегож Будник был «всегда», то есть с 1990 года, сандомежским депутатом с несбывшимися надеждами на кресло бургомистра, а его покойница жена Эльжбета, моложе его на пятнадцать лет, учительница английского в престижном лицее, занимающем здание старой иезуитской Коллегии, вела для детей всевозможные художественные кружки и принимала участие во всех местных культурных мероприятиях. Жили они в доме на Кафедральной, в том, где, по рассказам, некогда квартировал Ивашкевич. Люди средних доходов, бездетные, стареющие общественники. Непричастные к политике. Но если приклеить им ярлыки, он – из-за своего прошлого в Национальном Совете ПНР – был бы красным, а она – из-за участия во многих инициативах католической Церкви и едва заметного проявления веры – была бы черной.

«В каком-то смысле это символ нашего города, – рассказывала Соберай. – Люди с совершенно разными взглядами, с разной историей, теоретически с противоположных сторон баррикады. Но способные договориться, когда речь идет о благе Сандомежа».

– В каком-то смысле это символ нашей дыры, – объяснял Вильчур. – Сначала красные, а потом пришедшие им на смену черные хотели что-то доказать избирателям, но быстренько рассудили, что во благо личных интересов им лучше договориться меж собой. Недаром Городское управление расположено в старом доминиканском монастыре с видом на синагогу и еврейский квартал. «Чтоб не перестали забыть, что есть хорошо для гешефт», – произнес он, подражая говору старых евреев. – Не буду вам читать лекцию по истории, но вкратце все выглядело так: при красных город был дрянь. Хорошим считался Тарнобжег с его добычей серы, терпимым – стекольный завод за рекой, а здесь – только насмешки над образованщиной, а она ведь к тому же была в основном в сутанах. От Варшавы даже дорожные знаки указывали на Тарнобжег. Голь перекатная, зачуханный скансен – вот что

здесь было. Но пришло новое, люди обрадовались, правда, ненадолго, потому что по ходу дела оказалось, что это не город, а атеистический нарост на здоровом организме Церкви. Из кинотеатра сделали Дом католика. На Рыночной площади принялись отправлять богослужения. На прибрежных лугах установили Иоанна Павла высотой с маяк, теперь там вроде бы даже неудобно устраивать общественные мероприятия, там только на прогулке собаки гадят. Ну и снова-здорово – зачуханный скансен, где больше костелов, чем закусочных. А потом к власти вернулись красные и после минутного замешательства оказалось, что если на горизонте неплохой гешефт, то ой-вэй, ой-вэй, на этом могут выиграть и бывшие, и настоящие слуги народа. К примеру, если на возвращенных костелу землях поставить магазин или автозаправку.

– Принимал ли в этом участие Будник?

Вильчур замялся. Он снова заказал воду, но так торжественно, будто просил принести двадцатипятилетний виски.

– Я по тем временам работал в Тарнобжеге, но люди сплетничали.

– Это Польша, здесь вечно сплетничают. Я слышал, что он никогда и ни во что не был замешан.

– Официально, да. Но ведь Церковь не обязана организовывать торги, она может продать все что захочет, за сколько захочет и кому захочет. Вся эта история выглядела довольно странно: сначала, искупая учиненную коммунистами несправедливость, город, не заставляя себя лишний раз просить, возвращает земли, принадлежавшие различным конфессиям, а те без лишних слов продают их под современную бензозаправку или супермаркет. Неизвестно кому, неизвестно по какой цене. А Будник был большим поборником идеи: Богу – Богово, а еврею – евреево.

Шацкий пожал плечами. Стало тоскливо. Ему не по вкусу пришлись нелестные, пропитанные польским ядом, липкие, как столы в «Модене», высказывания Вильчура.

– Подобное творится во всей Польше, какое это здесь имеет значение. Наделало Буднику врагов? Кому-то он не угодил? Устроил не так, как нужно? Сошелся с мафией? Пока что это мне напоминает незатейливое жульничество, тему для местной школьной газетенки. А вовсе не повод, из-за которого перерезают горло чьей-то жене.

Вильчур поднял тонкий, морщинистый палец.

– Допустим, что здесь земля не на вес золота, как на Маршалковской, но даром ее не дают.

Он замолчал и задумался. Шацкий терпеливо ждал, наблюдая за Вильчуrom. Как бы ему хотелось думать о нем как о местном опытном полицейском, но в инспекторе было то, чего он не любил. Выглядел Вильчур как забулдыга, и это впечатление настолько с ним срослось, что, разодевшись он в пух и прах и пристрастись к дорогому коньяку, все равно будет напоминать горького пьяницу. Доверие к нему у Шацкого по необъяснимым причинам ослабевало с каждой минутой. Ему недоставало Кузнецова. Ох, как недоставало.

– Сами видите, как выглядит этот город, – продолжал Вильчур. – Возможно, он еще не проснулся, но это конфетка, другого такого в Польше не сыщешь, у него все задатки стать таким, как Казимеж-Дольный, а то и лучше. Соорудят пристань, откроют с полдюжины курортов-спа, рядом проведут автостраду из Варшавы до Жешува и дальше на Украину. И другую автостраду – из столицы до Кракова. Не пройдет и пяти лет, как здесь в каждую пятницу в обе стороны будут стоять пробки из «БМВ». Сколько концов можно будет тогда отбить на земельных участках? Десять? Двадцать? Сто? Не надо быть гением, чтобы

Купить полную версию книги

notes

Примечания

Пасхальная октава — в католической церкви термин, объединяющий Пасхальное воскресенье и следующую за ним Пасхальную неделю. Заканчивается Пасхальная октава на следующее воскресенье, когда дополнительно отмечается праздник Божьего Милосердия.

«Видзев» – футбольный клуб из Лодзи, городе, в котором до войны жило много евреев.

Пуповины – обычай празднования рождения ребенка в день его появления на свет.

Царство Польское – территория Польши, находившаяся в унии с Российской империей с 1815 по 1832 год, ставшая впоследствии (с 1832 по 1916 год) частью империи.

Варшавское герцогство – государство, образованное в 1806 году из польских территорий, отошедших после второго (1793 г.) и третьего (1795 г.) разделов Речи Посполитой к Пруссии и Австрийской империи. Являлось протекторатом наполеоновской Франции и просуществовало до 1815 года, когда большая его часть была присоединена к Российской империи.

Галиция – коронная земля Габсбургской монархии со столицей во Львове. Образована после первого раздела Речи Посполитой в 1772 году.

Восточные Кресы – польское название (от слова kres – граница, край, рубеж) нынешних территорий Западной Украины, Белоруссии и Литвы, некогда входивших в состав Польши.

Древо Иессея – аллегорическое изображение родословия Иисуса Христа.

De domo (*лат.*) – дословно «из дома»; девичья фамилия.

Kwiecień (*польск.*) – апрель.

Genius loci (*лат.*) – гений места (добрый гений, дух-покровитель).

Бима – возвышенное место в центре синагоги, с которого читают Тору.

Арон а-кодеш (*иврит*) – синагогальный ковчег.

Округлое или овальное отверстие в стене или в своде для освещения помещения.

«Отец Матеуш» – польский сериал (2008 г.), снимался в Сандомеже.

Кавалерка – жилое помещение гостиничного типа (без кухни). Предназначается для холостяков. Дословный перевод с французского слова «гарсоньерка».

Олег Кузнецов – персонаж предыдущей книги З. Милошевского «Повязанные», полицейский, выходец из России, весельчак и балагур, с которым Шацкий провел не одно следствие.

«Варшавкой» называют снобистскую, гламурную часть столичного общества.

На улице Очко в Варшаве находится больница с отделением патологоанатомии. В предыдущей книге («Повязанные») прокурор Теодор Шацкий частенько присутствовал там при вскрытии.

Скансен – здесь: музей под открытым небом. Название произошло от этнографического комплекса в Стокгольме.